

# В Е Р А Калачкава

Раскройте объятия  
друг другу!

Семья  
мадам  
Нюссо





О мечте, о любви, о судьбе

Вера Колочкова  
**Семья мадам Тюссо**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Колочкова В. А.**

Семья мадам Тюссо / В. А. Колочкова — «Эксмо», 2017 — (О мечте, о любви, о судьбе)

ISBN 978-5-699-98678-1

Елена Максимовна Тюрина всю жизнь посвятила детям, пытаясь вырастить их достойными во всех отношениях людьми. Она надеялась, что сын и дочь будут ей благодарны. К тому же повод проявить свою благодарность не заставил себя ждать: в одночасье Елена Максимовна оказалась прикована к постели. Однако повзрослевшие дети не спешили бросить все и посвятить себя уходу за матерью. Черная, дикая неблагодарность! А может, эта неблагодарность имела под собой какую-то подоплеку? Может быть, заботливая мать сотворила ее своими руками? Трудно в это поверить! И, тем не менее, нашелся человек, который смог объяснить Елене Максимовне ее ошибку, – некто из прошлого, кого она когда-то с легкой совестью отправила на заклятие во благо любимому сыну.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-98678-1

© Колочкова В. А., 2017  
© Эксмо, 2017

# Вера Колочкова

## Семья мадам Тюссо

© Колочкова В., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

\* \* \*

*Мавр сделал свое дело,  
мавр может уходить.*

**Ф. Шиллер**

Елене Максимовне снилась боль. Снилась физически, осязаемо. Сначала касалась живыми горячими пальцами, потом закручивалась плетью, не давая вздохнуть. Интересно, как эта боль, эта мука мученическая в объятия Морфея пробралась? И сильный анальгетик не помог, принятый с вечера. А раньше спасал, прогонял на ночь эту заразу. И зачем в таком случае нужен сон, если в нем боль присутствует?

А может, это и не сон вовсе? Это желание сна, самообман, потакающий потребности организма. Он думает, что спит, а на самом деле над ним боль властвует. Надо будет расспросить врачиху Валечку на этот счет, пусть посоветует приличное снотворное.

Елена Максимовна вздохнула, открыла глаза. По серому цвету окна поняла – утро уже. Неприятное утро, морось и хмарь октября. Самая сердцевина промозглого межсезонья. Еще бы в такую погоду боль в суставах не мучила! Разошлась, облизывает их горячим шершавым языком... Снова таблетку принять, что ли? Может, удастся подремать, хотя бы полчаса. Хороший ведь анальгетик, раньше никогда не подводил.

Пальцы нащупали на прикроватной тумбочке початый блистер, сухим щелчком ковырнулась из ячейки спасительница-таблетка. Вода в стакане была теплой, невкусной и будто нехотя протащила таблетку по гортани, плюхнула ее в желудок. Теперь надо ждать, когда подействует. Когда боль уйдет. Закрыть глаза и ждать.

Боль не ушла. И не подумала даже. Наоборот, прибавила обороты, и в какой-то момент несчастная ее жертва застонала, в мучении опершись локтями о твердый ортопедический матрас и неловко съехав головой с подушки.

А потом вдруг отпустило. Но странно как-то отпустило, будто на месте коленных суставов образовалась пустота. Будто вылизала их проклятая боль окончательно и на этом успокоилась. И так это было неприятно, что спать совсем расхотелось.

Да и утро уже было позднее – за окном нарастал шум проснувшегося города. Надо было вставать, надо было начинать жить очередной день своей старости. И не столько надо, сколько необходимо – в первую очередь хотелось бы до туалета дойти, конечно. Целое путешествие на таких ногах... Пытка, но надо.

Как быстро, однако, проклятое недомогание стало руководить ее жизнью! Сначала боль казалась малой помехой, напоминанием о солидном возрасте, и отношение к ней было вполне себе легкомысленное – надо сбросить пяток лишних килограммов, и вместе с ними уйдут неприятные ощущения. Потом, позже, боль стала источником испуганного недоумения, а потом и вовсе большого страха. Когда видела на бульваре неуклюже ковыляющих старух с палочками, вздрагивала и отворачивалась испуганно – чур меня, чур... Со мной такого никогда не случится! Еще чего!

Наверное, даже в мыслях нельзя произносить это коварное слово «никогда». Не успеешь подумать, как оно вскорости прилетит бумерангом – смиришься-ка, матушка, и морду не отвора-

чивай, потому как неча, неча воображать в свои заплечные-то годки, в семьдесят с большими копеечками...

Но было дело, пробовала и с палочкой. Не получилось. Гордыня не позволила. Просто перестала на улицу выходить, и все. Да и что она не видела на той улице? Магазины? Но если надо продукты в дом принести – Коля всегда принесет... Муж все-таки. Обязан и должен. Хоть какая-то польза от старого алкоголика.

Все, все... Не надо про Колю думать, не надо разгонять свою злость. День длинный, еще сорок раз успеется. Надо собирать волю в кулак и вставать с постели, удовлетворять потребности организма. Тем более до туалета и ванной комнаты недалеко – пять шагов до двери, потом десять шагов по коридору. Ну, с богом...

Ухватила рукой за спинку кровати, с трудом поднялась на ноги, заранее приготовившись к наплыву боли. Но так и не поняла, что произошло в следующую секунду – тело будто ухнуло в пустоту, повернулось неловко и грузно увалилось обратно на кровать. Боли не было. Только пустота...

Елена Максимовна полежала немного, пытаясь унять испуганное и злое недоумение. Повернулась и снова ухватила за спинку кровати, села. С перепугу решила – надо еще раз попробовать. Не может быть, чтобы вот так... Не может...

А потом вдруг поняла, что не встанет. А если встанет, упадет не на кровать, а на пол, и даже увидела эту картинку внутренним взором – лежит на полу неумытая, нечесаная, жалкая старушонка, сучит лапками. Содрогнулась, возопила хрипло в открытую дверь спальни:

– Коля! Николай! Иди сюда, слышишь? Ты где?

Квартира отозвалась тишиной. Ни движения, ни звука, ни намек на присутствие мужа.

Где он? Спит, что ли? Наверняка в гостиной на диване валяется. Принял с вечера и выпал из жизни. Алкоголик. Сволочь. Ничтожество человеческое.

– Николай! – прибавила, сколько могла, злой силы в голос Елена Максимовна. – Просыпайся, слышишь? Иди сюда! Я встать не могу!

Последняя фраза прозвучала почти на истерике, с отчаянной слезой в голосе. А еще так, будто сама себе приговор вынесла. И разозлилась на мужа еще больше, когда услышала, как он торопливо шлепает по коридору босыми ногами, приговаривая на ходу:

– Бегу, Ленуся, бегу... Здесь я... Слышу.

Увидев мужа в дверях спальни, Елена Максимовна застонала от раздражения – боже, как она его ненавидела... Ненавидела его сухие кряжистые ноги в широких трусах, обвисшее пузо, его черную майку с кровавой задорной надписью «YES!» Ненавидела смиренное тупое выражение лица, эту вечную готовность услужить, укрывающую с изнанки, она знала, ответную ненависть. И блекло-голубые смиренные глаза, всегда влажные с похмелья, тоже ненавидела. Не обманешь ее смирением, и уж тем более алкогольной голубизной-блеклостью не обманешь. Конечно, их связывает общая ненависть, только она у каждого своя. У нее ненависть-гнев, а у Николая – ненависть-трусость.

Все-таки нельзя в старости жить вдвоем. Все-таки старость – это честный союз с одиночеством. Да еще союз с банковским вкладом, если он есть. Банковский вклад решает все проблемы, а не муж-алкоголик, от которого проку нет. Но за неимением вклада приходится мужем довольствоваться, на безрыбье и рак рыба.

– Ну что ты встал в дверях, как истукан? Помоги.

– Чем помочь, Леночка? Ты скажи, я все сделаю.

– До туалета помоги дойти. Я встать не смогла. И тебя не дозовешься. Не слышал, что ли?

– Нет, не слышал. Спал крепко. Давай помогу. Рукой за шею меня обхвати...

Он склонился над ней с готовностью, и Елена Максимовна содрогнулась от запаха водочного перегара, брезгливо отвернула лицо. Но желание опростать мочевой пузырь было силь-

нее ненависти – рука сама собой потянулась, легла на мужнину шею. Он ухватил ее за спину, крикнув от напряжения, потянул вверх.

Так и тащились до туалета – в жалком объятии совместной немощи. Николай дышал трудно, с надрывом, она висела на нем, не чувствуя ног. В какой-то момент в суставах остро вспыхнула боль, и она вскрикнула страдальчески, чуть не осев на пол. Но боль утихла, зато руки у мужа, она почувствовала, тряслись в последнем отчаянном напряжении, на исходе сил. Понятно – с похмелья.

Потом так же тащились обратно. У обоих лица от напряжения мокрые. Дышали отрывисто, сипло, почти в унисон. И апогеем – облегченный вздох Николая, когда она без сил отвалилась на подушки. Закрывает глаза, проговорила едва слышно:

– Нет, я больше такой пытки не вынесу. Да и ты в другой раз меня уже не дотащишь. Надо что-то делать, причем срочно. Принеси телефон.

– Что, Леночка? Не понял...

– Телефон, говорю, принеси! Глухомань старая! Пить меньше надо, чтобы лучше слышать!

– Так вот он, телефон, у тебя на тумбочке.

– Ах, да. Я сейчас Валечке позвоню, чтобы пришла, ты ей дверь откроешь. Только бы она не убежала на дежурство. Только бы дома оказалась.

Валечка была бесценной соседкой по площадке, работала врачом-терапевтом в районной поликлинике. На Валечку молились все соседи от мала до велика, потому как она была женщиной доброй и никому в помощи не отказывала. Гиппократ Валечкой бы точно гордился, особенно на фоне стремительно уходящей в небытие пафосно клятвенной любви к больному человеку, Гиппократом же и придуманной.

Трубку взял Валечкин муж, скромный милый Аркаша. Выслушав настойчивую просьбу срочно позвать к телефону Валечку, вздохнул и проговорил с жалобной досадой:

– Валя только-только с ночного дежурства пришла, Елена Максимовна...

– Мне она срочно нужна, иначе бы я не звонила! Если говорю – позови, значит, надо позвать! – холодно бросила она в ответ, раздражаясь на его невразумительно выраженную досаду.

Аркаша, по всей видимости, впал в ступор. Елена Максимовна всегда знала за собой этот момент – многие люди на ее холодные выпады именно так и реагируют. Присутствовал в этом послышке какой-то особенный волевой момент, оттого и реакция была соответствующая. А пока реакция продолжается, можно их тепленькими брать, любой каприз исполнят. Наверное, это не очень хорошо и не очень правильно с точки зрения человеколюбия, но ведь сами напрашиваются! И в данном конкретном случае... Что за двойные у Аркаши стандарты? Хочешь пожалеть жену – откажи наглой соседке, нахами, в конце концов! А если позиционируешь себя как интеллигент в пятом поколении и не можешь допустить большего «хамства», чем невразумительная досада, то и не трепыхайся попыткой к сопротивлению, отдайся с потрохами. И не надо вздыхать в трубку, потому что сам виноват. Нравится быть интеллигентом – терпи!

– Хорошо, Елена Максимовна, сейчас я ее позову.

– Давай. Жду.

Валечка даже не поздоровалась, промямлила в трубку замирающим от усталости голосом:

– Что случилось, Елена Максимовна?

– Ой, Валечка, в двух словах не расскажешь... Беда у меня. Может, зайдешь?

– Какая беда? Наверное, лучше «Скорую» вызвать? Я с ночного дежурства.

– Нет, нет... Не надо «Скорую». Ты зайди, я все объясню. Прямо сейчас зайди! Коля тебе откроет.

– Хорошо... Через пять минут буду.

Николай успел натянуть спортивный костюм, стоял в дверях спальни, как солдат на страже, ждал приказа.

– Сейчас она придет... Иди открывай дверь. И расческу мне принеси! И зеркало... Может, успею космы прибрать.

Валечка выслушала ее с дежурным участием на лице, вздохнула и задумалась, будто собираясь с мыслями. Наверняка мысли были не очень хорошие, и Елена Максимовна не выдержала, предложила с осторожностью:

– Может, мне в стационар лечь, а, Валечка? Дашь направление?

– Нет, Елена Максимовна, госпитализация ничего не даст, к сожалению. Суставы – такая коварная штука. И возраст у вас. Мы уже все делали, что можно было сделать, вы же знаете. И таблетки, и уколы, и процедуры в стационаре. Весь потенциал полностью исчерпан. Придется вам привыкать.

– То есть как это – привыкать? Что значит – привыкать? Думай, что говоришь!

– Я знаю, что говорю, Елена Максимовна. Я врач.

– То есть... Ты хочешь сказать, что я вообще встать не смогу? Но я должна встать! Я все равно буду пытаться вставать!

– А вот истязать себя без пользы не надо, Елена Максимовна. Упадете, ноги переломаете или, не дай бог, шейку бедра.

– Но что мне делать? Ведь можно же что-то сделать? Есть же еще какие-то дополнительные методы лечения... Неужели мне не помогут?

– В нашем стационаре – нет.

– А где?

– Поезжайте в швейцарскую клинику, там помогут. Может быть.

– Издеваешься?

– Нет, я не издеваюсь. Это вы задаете неправильные вопросы. Я понимаю ваше отчаяние, но... Надо принимать реалии жизни, другого выхода нет. Зовите детей, пусть решают вопрос. Вам нужен постоянный организованный уход, вы же не одинокая женщина, у вас семья есть.

Валечка покосилась на застывшего в дверях Николая, тихо вздохнула и добавила почти интимно:

– И руки более надежные хотелось бы... В общем, зовите Жанну с Юлианом, пусть решают. Если у них ко мне будут вопросы по уходу за вами, пусть обращаются, я проконсультирую.

Валечка ушла, оставив Елену Максимовну в тихом отчаянном недоумении. Впрочем, затишье было обманчивым, как бывает в природе перед грозой – до первой сверкнувшей молнии, до первой эмоции.

Буря нужна. Разрядка. Извержение гнева и слез. Иначе с нахлынувшим обстоятельством не справиться.

– Лен... Ты скажи, что надо сделать, я все сделаю, – опасливо проговорил от двери Николай и тут же втянул голову в плечи, будто знал, что за этим последует. А может, и правда знал. Привык, что всегда выступает в роли провокатора для разрядки.

Елена Максимовна медленно повернула к нему голову, сжала пальцы в пухлые кулаки, выплюнула из себя первую порцию кипящего раздражения:

– Да что ты можешь сделать, алкоголик несчастный! Что ты вообще можешь сделать! Ты же никогда и мужем-то настоящим не был, ни одного самостоятельного решения за всю жизнь не принял! Так и прожил за моей спиной. И теперь, когда я... Что ты меня спрашиваешь? Сам не знаешь, что делать? Не знаешь, да? Не знаешь? Не знаешь?

Николай стоял молча, смотрел на жену, не мигая. Казалось, даже помогал ей взглядом – давай, мол, давай, разрядись, потом легче будет. Блеклые голубые глаза отражали давний душевный излом, такой давний, что сам по себе излом вполне можно было принять за смирен-

ную мудрость. Но кого в данных семейных обстоятельствах обманешь смиренной мудростью? Никого не обманешь. Вот она, та самая ненависть – многолетняя и униженная, – просвечивает через блеклую голубизну мужниных глаз, через обманную преданность.

– Ну, чего стоишь! Иди на кухню, кофе свари! – снизила на полтона свой раздраженный выплеск Елена Максимовна. – И завтрак сделай, что там у нас в холодильнике есть, не знаю... И мокрое полотенце мне принеси... Чего стоишь, иди!

Николай молча повернулся, ушел на кухню. Елена Максимовна глубоко вздохнула, в изнеможении закрыла глаза. Где-то там, внутри, уже закипали слезы – разрядка свершилась, дорога для них была открыта.

\* \* \*

Банка с молотым кофе была пуста. Надо же, как некстати – придется возиться с кофемолкой. Имелся, конечно, и растворимый, но Лена его терпеть не могла.

Что ж, будем молоть...

Николай усмехнулся, насыпая кофейные зерна в кофемолку. Да уж, будем молоть. Получилось в той же интонации, как у Никулина в старой комедии – будем искать... Что он там искал, халатик с перламутровыми пуговицами? Да, смешно.

А если по правде – ничего смешного и близко нет. Если по правде – несчастье в семье случилось. Но где силы взять, чтобы эту правду до конца осознать, чтобы пропустить ее через душу, через сердце, чтобы по-настоящему, искренним живым чувством? И чем это «чувство чувствовать», когда внутри ничего нет, кроме свежей порции Лениной злобы? Ух, ядреная была порция, трудно будет переварить! Хотя, если разбавить лекарством... С лекарством вполне себе переварится.

Николай воровато оглянулся на дверь, ловким движением выудил из дальнего углового шкафчика початую бутылку водки, жадно хлебнул прямо из горлышка. Сморщился, втянул в себя дух смолотых кофейных зерен, подошел к окну, начал снова крутить ручку кофемолки. Шибче, шибче, с остервенением даже. Ух, пошло хорошо... И в голове яснее стало, и в сердце. Можно и «чувство почувствовать», и пожалеть бедную Лену по-настоящему.

Лена, Лена...

Говоришь, алкоголик? Да, ты права. Я алкоголик. А кем я еще должен быть – рядом с тобой? Разве другое возможно?

Разве это возможно – вылепить другого мужа из подручного материала, как тебе хотелось? Я ведь живой человек, из плоти и крови, пусть с мягким и податливым, но все же характером. Да и хотелось ли тебе другого мужа?

Для тебя, Лена, все близкие люди – подручный материал. Воск. Потому что из близких людей легче лепить восковых кукол, правда? Близким труднее сопротивляться, труднее совладать с твоим властным характером.

Знаешь, как тебя за глаза называют наши дети? Думаю, знаешь. Они называют тебя «мадам Тюссо». И думаю, тебе такое знание ужасно приятно, хотя мы с тобой это никогда не обсуждали. Потому что ты никогда и ничего со мной не обсуждаешь. Ты никогда не опускаешься до моего уровня, потому что я для тебя – никто. Я алкоголик, я старая восковая кукла, задвинутая в темный и пыльный угол.

Мадам Тюссо... Интересно, кто это придумал, Юлик или Жанна? Скорее всего, Юлик, у него с детства было богатое воображение. Хотя и придумывать ничего не надо, имя само витает в воздухе, надо только прислушаться и уловить. И услышать, к примеру, с каким достоинством ты говоришь о себе – я, мол, Елена Максимовна Тюрина, урожденная Сосницкая. Так и слышится – мадам Тюссо... Хотя по паспорту мою фамилию носишь, и с молодости числишься Тюриной, и никакой Сосницкой в паспорте не прописано. Если уж так хотелось, могла бы и



девичью фамилию сохранить, никто не неволил Тюриной называться, и замуж метлой никто не гнал. Наоборот все было, если вспомнить...

Рука устала крутить кофемолку. Да и много уже намолот, хватит на пару дней. С кофе все понятно, а вот что на завтрак изобрести? Может, пойти, спросить?

Можно спросить, конечно. Хотя есть опасность подхватить свежую порцию гнева, а он сегодня у Лены особо ядреный, смешанный с бессилием и отчаянием. Да и можно понять... Но если еще пятьдесят граммов пропустить, то к пониманию вполне можно и сочувствие приобщить.

Нет, лучше не ходить все-таки, не спрашивать. Утро еще, а водки мало осталось. Надо будет прикупить сегодня в запасец, времена настали трудные, запасец не помешает. А на завтрак овсянку-пятиминутку заварить можно. Яблочко туда потереть...

Поставив на поднос чашку с кофе и тарелку с овсянкой, он осторожно двинулся по коридору, стараясь не шаркать тапками. Лена ужасно не любила, когда он шаркал тапками. Раздражалась. Лену все раздражало, что от него исходило. И она права – нельзя в старости жить вдвоем. Но если дожили вместе – куда друг от друга денешься? Тем более не в ее нынешнем положении о прелестях одиночества рассуждать. Лучше бы спасибо говорить научилась. Вон, кофе в постель муж несет, как в молодости. Чего еще?

Открыл дверь спальни, вошел...

Лена спала, разметав седые волосы нимбом вокруг головы. Лицо волевое, сердитое, брови напряженно сведены к переносице. А в уголке глаза мутной каплей застыла непролитая слеза. Плакала, значит. Поплакала и уснула.

Он потоптался неловко рядом с кроватью, не зная, что делать с подносом. Оставить на тумбочке? Но все остынет, когда Лена проснется. Но если не оставишь – скажет потом, что и не приносил. Пусть лучше остынет. Лучше новый кофе сварить, когда проснется. А кашу и разогреть можно.

Словно услышав его мысли, Лена тихо застонала, перекатила голову по подушке, но не проснулась. Мутная слеза нашла себе путь, медленно скатилась по щеке, упала за шею.

Николай замер с подносом, глядя на жену. Какая она... Даже в этих обстоятельствах – волевая. И красивая, несмотря на свои семьдесят с гаком. Черты лица сохранили определенность, ничего никуда не расплылось, не заострилось и не провалилось, и каждая морщинка знает свое место, то есть не распускается ветвями, куда не положено. Даже седина приобрела к возрасту благородный голубой оттенок, что было большим удобством, как Лена говорила, – волосы красить не надо.

Да, если бы суставы не подвели... Была бы в полной силе мадам Тюссо. А так... Никогда не знаешь, в какое место тебя судьба тукнет. А главное – за что.

Поставив поднос на тумбочку, Николай на цыпочках вышел из комнаты. Правда, старания с «цыпочками» едва не сыграли с ним злую шутку – чуть не грохнулся на пороге, не удержав равновесия. Хорошо, вовремя удалось за косяк ухватиться.

Добравшись до кухни, плотно прикрыл за собой дверь, перевел дух.

«Переведенный» дух немедленно потребовал порцию допинга. И как ему откажешь, бедному-несчастному? Никак.

Пока закипал чайник, Николай почистил себе селедку. Как говорила Лена – еда Шарикова Полиграфа Полиграфовича. Да бог с ней, с Леной... Что теперь, в удовольствии себе отказывать?

Селедку он покупал от Лены тайком. Причем не любил селедку готовую, разделанную да закатанную в непонятный соус. Любил селедочную плоть пальцами почуять, поковырять ее, родимую, матерком тихим обласкать да проглотить голодную слюну предвкушения. Потом хлебца ржаного отхватить от души, да на хлебец уложить селедочку, да сверху зеленым лучком посыпать... Эх, говори, Москва, разговаривай, Расея! Шариков я, Полиграф Полиграфович, и

вся моя жизнь такая, горько-соленая, под черный хлебушек! И куда ты меня, жизнь, завела? А начиналась как хорошо.

Очень, очень хорошо начиналась. Хотя, по нынешним капризным временам, стыд сказать, где она начиналась. Но чего стыдиться – непонятно. Да, в колхозе она начиналась. Не стыдно было в те времена колхозником называться, никто в ответ и доли насмешливого презрения на морде лица не конструировал. Они, например, хорошо с матерью жили, хоть и без отца, но справно. Дом рубленый имели, корову и другую всякую живность, мотоцикл с коляской. Бывало, по воскресеньям раным-рано мамка в коляске усядется, кулями с домашней всячиной обложится, и он мчит ее в райцентр на базар... А обратно – с деньжонками да с покупками. А вечером – в баньку... Чем плохо? И всегда на свежем воздухе, и румянец во всю щеку, и здоровье с веселостью из организма так и прут наперегонки, не остановишь.

Он был первым парнем на деревне. Статный, красивый, голубоглазый, как артист Вячеслав Тихонов в старом фильме. Наверное, про себя нельзя так говорить, но он и не говорил, другие говорили-то и называли на деревенский манер с приставкой – Колька-городской. Деревня такое любит – обидной приставкой к имени одарить, и «косого» прибавят, и «рябого», и «маломерка». Но «городской» – это была высшая статья. Даже учителя в школе подмечали его нездешнюю, не деревенскую, не мужичью природу и пытали при случае – кто, мол, Коленька, у тебя отец был. Да если б он знал про отца! У матери разве допытываешься. Сразу сердиться начинала, отшивала строгим ответом – я, мол, тебя за двоих люблю, тебе что, этого мало?

Любила, правда. Его никто и никогда больше так не любил, как мамка. Нет, Катюха его тоже любила, если вспомнить... Невеста у него была – Катюха. В армию провожала. Дождалась, решили по осени свадьбу играть. И матери она нравилась. Да, подлю он с Катюхой поступил, подлю. А тогда и не думалось ни про какую подлость, крышу в одночасье снесло, задрожала польщенная душонка, не выдержала свалившегося на нее искушения. Что и говорить, Лена умеет чужую душонку на палец наvertеть да вокруг себя поворачивать. Талант у нее такой особенный. Он же тогда не знал про ее талант...

А интересно – если бы знал? Если бы устоял? Если бы не польстился, не искусился? Жизнь бы другая была, да... Такая, какая должна быть...

Но теперь-то зачем об этом! Как получилось, так получилось, назад не воротишь. И того дня не воротишь, когда один в клуб на танцы пошел, без Катюхи, она приболела в одночасье. Очень уж интересно было на городских девок посмотреть, которых на уборку яблок прислали. Год на яблоки выдался урожайный, вот и прислали помощь в рамках «смычки города и деревни», как по тогдашней советской моде в газетах писали. Думали, студенток из педагогического училища пришлют, оказалось – нет. Все девахи на вид вроде как перестарки, одна важнее другой. Сами не танцуют, сбились в кучку, сидят, переговариваются, и видно, что не просто так переговариваются, а насмешливо и свысока любопытствуют. Вдруг от них отделилась одна – и напрямик к нему подрулила. Можно вас, говорит, на танец пригласить. А он что – он пожалуйста, с дорогой душой... В танце вежливо познакомился, выяснил, что партнершу Наташей зовут. Наташа эта бойкая оказалась, то да се, разговорились... Оказалось, девушек на «смычку города и деревни» из областного научного института прислали, из каждой лаборатории по разнарядке. И вроде не отвертеться никак, иначе строгий выговор в трудовую книжку запишут. А у одной из девушек завтра день рождения, как назло... И никто с этим не посчитался. И так жалко бедную Леночку, так жалко... Даже шампанское открыть некому... И не будет ли он так любезен... В качестве гостя...

Конечно, любезен. Даже рад. А которая именинница? А, вон та... Почему разочарован? Да нет, показалось вам, что вы... Очень даже симпатичная... Завтра буду к восьми, как штык.

Лена ему совсем не понравилась, ни лицом, ни статью. Но ужасно польстило, что его одного выбрали из всех парней, что в клубе были. Назначили «разливальщиком шампанского» на всю женскую городскую компанию. Вот и полез туда, как муха в паутину, дурак...

Потом и не понял, как все быстро произошло. Как развеялась по ветру девчачья компания, как остались с Леной вдвоем в комнате. Как закружило голову от ее уважительных комплиментов, да не просто комплиментов, а с хитрой изюминкой. Вроде того – я вся из себя умная, городская и образованная, а с тобой, как с равным, и даже больше...

Его словно на облако вознесло. Вдруг понял, что смотрит на нее уже другими глазами. Нет, не хмельными, какой от шампанского хмель? А будто... Сильнее уважать себя стал. Уважением прямо расперло. Так осмелел, что ухватил в охапку, поцеловал, как умел. И она подалась навстречу, красиво на его рубашке пуговицы расстегнула, как в кино... Катюха так не умела, конечно. Катюха его вообще близко не подпускала, сразу предупредила, чтоб до свадьбы – ни-ни. Вот глупая была! Выходит, она его сама в другие руки отдала.

Это уж потом выяснилось, что никакого дня рождения у Лены не было. Лена его по внешним параметрам себе в мужа выбрала. Потому что надо было выходить замуж, потому что все девчачьи сроки для этого дела прошли. Раньше ведь так и было – не успела деваха до двадцати пяти, сама виновата, поезд ушел, живешь остальную жизнь в статусе выбракованной. Это нынче все не так, нынче статусы никому не нужны и каждый по своей свободе живет, а тогда... Тогда из кожи вывернись, а предъяви обществу статус. Вот Лена и вывернулась. А девчонки с радостью подхватили задачу, какое-никакое, а развлечение. Он слышал, как та самая Наташа, с которой танцевал, обронила другой девчонке насмешливо – надо же, как лихо мы умудрились эту Сосницкую пристроить! Попал коготок, птичке конец! С добычей домой приедет.

Ему было уже все равно, что они говорят. Его понесло. Бежал каждый вечер в общежитие, ничего не видел, не слышал. А деревня сплетничала всюю, и бабы у колодца разводили руками, и Катюха не одну подушку слезами вымочила. И мать сердилась, говорила: когда перебесишься, окаанный, не позорь невесту перед людьми! Да он будто не замечал. Не слушал. Не слышал. Надо было бежать – его Лена ждала.

Так две недели и пробегал, как телок на привязи. Кончилось время смычки города и деревни, все яблоки были собраны. Лена сказала – надо решать, Коленька... Едешь со мной в город?

Таким тоном сказала, что и сомнений не было. Знак вопроса в конце для проформы произнесен был. Взял ее за руку, повел к мамке – благословения просить.

А мамка вдруг словно взбесилась, увидев Лену, так и взвыла от отчаяния. Упала ему на грудь, запричитала, как по покойнику:

– Сыно-о-о-к, одумайся, родненький! Что ж ты делаешь-то?.. Да ты погляди на нее, погляди... Она ж не баба, она одержимка окаянная! Изведет она тебя, дерюжкой под ноги бросит, в бахрому истопчет несчастную твою душеньку. Одумайся, сыно-о-ок...

Ему ужасно неловко было перед Леной. И на мать злился. Слово-то какое выкопала – одержимка! И где только взяла?..

Лена стояла, смотрела на эту сцену с удивлением, но спокойно. Даже показалось в какой-то момент, что она мать жалеет. И понимает...

А мамка вдруг оторвалась от него и пошла на Лену, выпучив глаза и прижав кулаки к груди:

– Изыди, окаянная демоница! Оставь мне сына, оставь! Не отнимай! Невеста у него есть, сговорились они, осенью свадьба!

Лена пожала плечами, улыбнулась, произнесла вполне миролюбиво:

– Извините, но теперь я его невеста. Мне жаль, что вы так... Странно себя ведете.

И он тоже засуетился, встрял со своей досадой:

– Мам, я же по-хорошему хотел! Чтобы мы сели, поговорили... Мы ведь завтра уезжаем, я и уволиться уже успел...

– Молчи, молчи лучше! Слушать не хочу! – в ужасе замахала руками мамка, повернувшись к нему. – Никуда я тебя не отпускаю, слышишь? А если уедешь – прокляну!

Он отшатнулся в ужасе – никак не ожидал от мамки такой жестокости. А она стояла посреди комнаты соляным столбом и повторяла как заведенная:

– Прокляну! Прокляну! Выберешь себе одержимку – прокляну!

Кончилось тем, что он психанул в ответ. Ох, как психанул! Схватил Лену за руку, выскочил из дома, шарахнув дверью. Потом, спустя время, отошел, конечно. Хотел ехать мириться, да Лена его не пустила. Так и откладывал на потом, и писем не писал, и от мамки вестей не было... Закрутила городская жизнь, не вздохнешь.

Трудно он привыкал к новой жизни. Все время себя неприкаянным чувствовал. Боялся не то сказать, не туда ступить... И у Лены в городе настроение поменялось, но этому была причина – счастливая, можно сказать. Лена объявила ему, что беременна. И теща была этой новостью счастлива... Похлопала его по плечу – молодец, парень!

Странная она была женщина – Ленина мать. При знакомстве ошупала его критическим взглядом, будто коня на ярмарке покупала. Хотя в зубы не заглянула, и на том спасибо. Когда умылись с дороги и сели за стол, пристала с вопросами, всю душу наизнанку вывернула. И кем в колхозе работал, и как в школе учился, и помнит ли теорему Пифагора... Он растерялся, глядел на Лену, ждал помощи, а теща произнесла вдруг задумчиво:

– Ничего, мальчик хороший... Институт не потянет, конечно, не тот уровень. А техникум вполне осилит. Я думаю, индустриальный, вечернее отделение. Я по математике натаскаю, если что.

И добавила уже в сторону, будто сама с собой разговаривала:

– Нет, правда, ничего, ничего... Вполне, вполне... Я даже не предполагала... Молодец!

Кому было предназначено это «молодец», ему или Лене, он так и не понял. Да и не важно было, в общем... Важно было то, что в этом доме никто никого не проклинал, а наоборот, всячески нахваливал.

Теща вдруг снова развернулась к нему, произнесла деловито:

– Ешь, ешь... Не стесняйся. Устал, наверное. Переволновался. И еще я должна спросить... Когда заявление в загс подавать пойдете?

– Не знаю... Завтра, наверное. Как Лена скажет. Но я и сегодня готов...

– Нет, сегодня не надо. Осмотрись, отдохни. Лучше завтра, прямо с утра. И пусть тебя, милый мой, не смущает разница в возрасте. Не такая уж разница – пять лет. И вообще, это очень пикантно, по-моему, когда жена старше.

– Меня не смущает.

– Молодец! Ты будешь хорошим мужем моей дочери, ты оправдал мои ожидания. Молодец...

Так и началась его странная семейная жизнь. Все время казалось, что не живет, а перекакивает по раскаленным камням, до мяса обжигая ступни. Иногда выдается холодный камешек, можно и отдышаться. Но если ступил на горячий – пощады не жди. Не жизнь, а бег с препятствиями – то кнут, то пряник. То приблизила его Лена, то отдалила. То взлетает от неожиданной похвалы, то падает, нахлебавшись Лениной холодной злости по самую маковку. То любит ее, то боится любить. Разве в такой суете что-нибудь про любовь поймешь?

А может, и вовсе никогда не любил... Жертва любить не умеет, ей бы в паутине совсем не сгинуть, она только на это нацелена. Потому и не понимает, любит ли, нет ли... Сил и времени на понимание не остается.

И мамку в деревне без него похоронили – он потом узнал. Не простила она его. Когда заболела, велела на похороны не звать. Лена, когда сказал ей, лишь плечом повела и фыркнула удивленно: как так можно, не понимаю.

Зато он все понял. Мамка-то права была насчет «одержимки». Лена и впрямь была одержимой, ей нужна была полная власть. И ни грамма этой власти она не могла отдать, лепила из него совершенно новое существо – по своему усмотрению. Нет, до своего уровня не поднимала,

не было у нее такой задачи. Но мальчика для битья вылепила вполне талантливо. И даже не мальчика для битья, а преданную собаку, податливую к хозяйскому настроению. Можно на нее раздражение сбросить – собака простит. Поскулит немного и простит. Можно в добрую минуту за ухом почесать, заглянуть в обалдевшие от нечаянной ласки глаза, потом оттолкнуть – ну, хватит с тебя, иди на место. В общем, произвела для себя полное удобство – каким хотела видеть рядом с собой мужа, такого и вылепила. Властвуй – не хочу. Получай удовлетворение, корми свою одержимость. Не трогала только внешность – она ее вполне устраивала.

На людях Лена изображала семейную идиллию, ластилась к нему, принимая обличье счастливой в браке женщины – ах, гляньте, как у меня все красиво. Любила, когда ей завидуют и за спиной шепчутся – повезло, мол. Муж любит, на руках носит. А ему что оставалось? Только подыгрывать. С годами так насобачился, что иногда и сам верить начинал, что любит и на руках носит исключительно по своему собственному желанию, как достойно-прекрасный муж Елены Максимовны Тюриной, урожденной Сосницкой. Мадам Тюссо.

Но детей он любил вполне искренне – сына Юлиана и дочку Жанночку. И с болью в сердце думал, что их постигнет со временем та же участь – служить Лениной одержимости. Правда, участь эта предполагалась более высокого качества, потому что Лена собиралась выпить из детей что-то необыкновенное и значительное. Например, в маленьком еще Юлиане разглядела в одночасье литературные способности и начала «лепить» ребенка в этом направлении. Парень сидел часами за письменным столом, а вся семья ходила на цыпочках и разговаривала шепотом – нельзя шуметь, Юлик «сочиняет». Бедный пацан потел, мучился и хошь не хошь, а выдавал какой-нибудь неказистый рассказик. Лена читала самое начало высокопарным речитативом, потом хмурилась, отчаивалась и кричала на сына, что он не имеет права так пренебрежительно относиться к своему дару. Юлик втягивал голову в плечи, с тоской смотрел в окно, где его сверстники гоняли по двору футбольный мяч. Страдал.

И тем не менее Юлик с грехом пополам, с Лениными звонками нужным людям, с конвертами «в лапу» и с репетиторами поступил в Литературный институт. Те, кто брал конверты, пожимали плечами в недоумении – мол, мы-то возьмем, если вы настаиваете, но никто еще не становился настоящим писателем таким способом. Но Лена ничего слышать не хотела, шла напролом к своей цели. Узурпировала бедного Юлика: учись, работай над собой, старайся. Ты должен стать большим писателем, потому что я так решила. Не смей огорчать маму! Для твоего же прекрасного будущего стараюсь, пойми!

Юлик понимал. Юлик учился. Учился, учился... И еще раз учился, как завещал вождь мирового пролетариата и как хотела мама. Но толку никакого не вышло, не стал Юлик писателем. Сколько ни посылал свои рукописи в издательства, нигде не приняли. С работой тоже не повезло – куда нынче устроишься с дипломом Литературного института? Так и шатался по разным конторам, имеющим хоть какое-то отношение к издательскому делу, как неприкаянный, а последние три года протирал штаны в рекламной газетенке на непонятной должности менеджера. Чем он там занимается – бог знает, но денег зарабатывает с гулькин нос. Женился, живет у жены вместе с тещей, бабы им вечно недовольны. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Сына не родил, дом не построил, даже дерева, и того не вырастил. Ничего за душой нет, кроме неустроенности да огромной обиды на жизнь. И на мать в том числе. Его как отца Юлик вообще в расчет никогда не брал.

И с Жанночкой примерно та же картина получилась. В маленькой Жанночке Лена разглядела балерину. Отвела в училище, там посмотрели и сказали – есть данные...

Все! С этого момента судьба девочки была решена. Если данные есть, будет примой. Должна быть примой! Мама так решила. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. И не важно, что у девочки характер мягкий, здоровье слабое и нет большого таланта, не важно! Дополнительные занятия на дому надо организовать! Ноги в кровь! Душу всмятку! Заплачешь – пощечину по мокрой сопливой щеке! Будешь примой, мама сказала!



У него сердце разрывалось, когда глядел на все это безобразие. Но вмешиваться – бесполезно, только Лёну на лишнюю злость раззадоришь. Лёна увлеклась, Лёна лепила красивых детей для красивого будущего – писателя и балерину. А спроси ее – зачем? Чтобы их эфемерной славой насладиться? Бонусы получить? Интервью давать – это я их мать, Елена Максимовна Тюрина, урожденная Сосницкая?

Кстати, он так и не понял до конца, кто был папа Сосницкий, чтобы таким гордым флагом нести перед собой его фамилию. По разговорам – вроде из бывших начальников. Но ни фотографии отца в доме не было, ни память о нем не хранилась. Обида была – это да. Лёна будто доказывала ему что-то своей обидой.

А Жанночка так и пошла в жизнь сломанной куклой, проплясав положенный срок в кордебалете местного театра. Потом стала классический танец преподавать в детской любительской студии. Зарплата копеечная, ни одеться прилично, ни в отпуск съездить. И с замужеством ей не везло. Не то чтобы подходящей партии не находилось, а просто не звал никто. Но полгода назад ушла-таки к одному хлыщу, живет с ним в гражданском браке. Лёна возмущалась, конечно, потом рукой махнула. Не до Жанны ей было. Ноги к тому времени уже сильно болели.

Не передать словами, как он их любил и жалел, Юлика и Жанночку. Все они были из одного роду-племени – куклы мадам Тюссо. Одна только была меж ними разница – он их любил и жалел, а они его – нет. Может, и любили, конечно, но с большой долей презрения. Потому что не уважали. Потому что смотрели на него глазами матери. А может, потому, что он чудесным образом умудрялся сохранять внутри себя добродушие, деревенскую непосредственность и разухабистую частушечную веселость. Это его спасало, за это и держался, как утопающий за соломинку.

Они морщились от его деревенских словечек, от некстати сказанных прибауток. Иногда переглядывались, повторяли с издевкой. Но он их все равно любил... И жалел. И принимал на себя их раздраженное разочарование неудавшейся жизнью. Кто-то ведь должен принять это разочарование, если его много в человеке накопилось? Тем более если этот человек – твой ребенок? Тем более что и без того знаешь, как ему плохо?

Внутреннее добродушие и веселость жили в нем долго, пока не иссякли. Нет, злым и грустным он не стал, но с годами все как-то по-другому перевернулось, что ли. Добродушие мхом поросло, веселость растаяла в хмельном дурмане. Теперь вместо веселости у него внутри жила хитрость – научился так прятать выпивку, что и сам порой забывал, куда спрятал. А уж находил когда! Вот радость!

Кстати, надо еще принять, пока Лёна не проснулась. И от бутерброда немного осталось, на закуску хватит.

И пора детям звонить, сообщать грустную весть про маму. Как там врачиха давеча сказала? Пусть дети решают? Пусть обеспечивают маме организованный уход? Маме руки нужны более надежные, чем у мужа-алкоголика? Ну-ну...

И кому позвонить в первую очередь? Сыну, пожалуй. Юлику...

\* \* \*

Он привык ненавидеть себя в зеркале по утрам. Свою одутловатую рожу с прожилками капилляров, бледные, далеко пробравшиеся залысины, мутный нездоровый взгляд когда-то ярких голубых глаз. И пусть не лгут всякого рода человеколюбцы, утверждающие, что человек может и должен любить себя такого, какой он есть. Все это ерунда и дешевый призыв к самобману. Никто не хочет быть обманутым, даже с лукавой приставкой «само». Это, наверное, великий поэт Пушкин сбил с толку своим «я сам обманываться рад», вот и подхватили.

Но он-то не Пушкин... И не оптимист... Что позволено Пушкину, не может быть отнесено к серому бесталанному человечку Юлику Тюрину, которому за сорок перевалило, а он из «Юлика» так и не выбрался и никем не стал. Даже Юлианом, на худой конец.

Он оттянул пальцами нижние веки, поводил глазами туда-сюда, снова вздохнул. Да уж... Надо больше овощей есть. И пить кефир на ночь. Хотя... Какие овощи, какой кефир?.. Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отказали. Когда жизнь проходит никак и уходит в никуда.

– Юлик, ты где? В ванной? Чего ты там застрял, иди быстрее сюда!

О, вот она, жизнь, которая проходит никак и уходит в никуда. Напомнила о себе голосом жены Ольги.

Какой у нее визгливый голос, однако... Недавно проснулась, а голос уже с нервической претензией. Ну задержался человек в ванной... Что, нельзя? Или у нас посещение санузлов числится по расписанию?

– Юлик! Сколько тебя можно звать! Иди быстрее, тебя отец к телефону требует, ну?!

А это уже что-то новенькое, однако. Отец требует. Словосочетание в отношении отца неприемлемое, слух режет. Понятно, когда мама требует, но отец... Или Ольга перепутала?

Юлик вышел из ванной, и она сунула ему телефон в ладонь так быстро, будто он жег ей пальцы. И на лице изобразила что-то вроде нетерпеливой брезгливости.

Не любишь моих родственников, дорогая жена, ой, не любишь...

– Да, папа, это я... Да, доброе утро... Что у вас там?

И сам услышал, как отчетливо проступило в голосе отторжение – не лучше, чем у Ольги, – накрыло собой сыновний долг. Сначала испугался, потом сознание привычно взярилось, будто его за веревочку дернули – какой, к лешему, долг! Ничего он им не должен! Долг – это когда через душу и сердце свою тревогу за родителей пропускаешь, как электрический разряд, а его даже малой искрой не торкнуло. Ну, что делать, если не торкнуло! Как есть, так и есть...

– Сынок, мама сегодня встать не смогла. Ноги совсем отказали. Она больше не сможет самостоятельно передвигаться, сынок. Даже по квартире.

– Понятно... И что теперь делать, пап? Я как-то могу решить эту проблему?

– Нет... Нет, конечно. Ты не злись, Юлик.

– Да не злюсь я, с чего ты взял!

– По голосу слышу, что злишься.

– Нет, папа, не злюсь. Просто растерялся от твоих новостей. А врача вызывали? Эту, как ее?.. Соседку по лестничной клетке? Она вроде назначала маме какое-то лечение?

– Она приходила, Юлик. Сказала, что больше маме ничем нельзя помочь, уже все методы испробованы.

– Что значит, нельзя помочь? Врач, и такое говорит? Да как она может!

– Она хороший врач, Юлик. И мама ее хвалила. Она действительно делала, что могла. Мама же долго лечилась.

– Да понятно, понятно. И что эта «хороший врач» еще говорит? Что, что теперь делать-то?

– Она говорит, надо принимать реальность и что-то решать.

– А что тут можно решать, я не понимаю? И в каком смысле – решать?

– В смысле ухода за мамой. Так и сказала – зовите детей, решайте. Вам, говорит, Елена Максимовна, нужен организованный и постоянный уход, у вас, мол, семья есть.

– Надо же, какая умная... Какие ценные указания дает...

– Юлик, ты приедешь?

– Приеду, куда ж я денусь.

– А когда?

– Не знаю, пап. Может быть, вечером.

– А почему вечером? Сегодня же суббота.

– Да, суббота. И что? У меня по субботам никаких дел нет, по-твоему?

– Хорошо, как знаешь, вечером так вечером. Только... Мама спит сейчас... Когда проснется, обязательно спрашивать начнет, звонил я тебе или нет... И что я ей скажу? Что ты приедешь, когда все дела переделаешь?

– Пап, ты шантажируешь меня, что ли?

– Да что ты, сынок. Побойся бога. Я просто не знаю, что маме сказать, чтобы она на тебя не сердилась. Ты же знаешь маму, что я буду тебе объяснять, как она...

– Пап! Ты принял с утра, да? Признавайся, было дело?

– Ну... Так, немного...

– Понятно. Знаю я твое «немного». А Жанке звонил?

– Нет еще. Тебе первому.

– Ну так и позвони ей, пусть приедет! В конце концов, тебе с ней надо в первую очередь проблему обсуждать! Это ведь женские дела, в конце концов! Не я же буду вникать в эти всякие... Интимные подробности!

– Да, сынок. Я сейчас ей позвоню. А ты, значит, вечером?.. Так и сказать маме?

– Так и скажи! Все, пап, давай... И не пей больше сегодня, я тебя умоляю.

Нажал на «отбой», сунул телефон в карман халата. Подтянул пояс, нервно прошелся по комнате. Вернее, по тому пространству, что осталось от комнаты. Закуток. Он живет в закутке, называемом квартирой, да! Это ж как надо было извернуться в свое время, чтобы установить перегородку в однокомнатной «сталинке»!

А что делать – нужда заставила, когда у тещи случился инсульт и Ольга перевезла ее из родного поселка к себе. На тещин дом сразу покупатели нашлись, и Ольга не устояла, продала. Поначалу предполагалось, что деньги от продажи дома уйдут на расширение жилплощади, хотя бы на двухкомнатную квартиру хватит добавить, но не вышло как-то. Деньги – такая зараза... Текучая, как песок. Чуть расслабишь пальцы, тут же провалятся сквозь них. То лекарства нужны, то целители на горизонте объявятся с обещаниями поставить маму на ноги, то свои родные проблемы назрели, от которых бесплатно не отмахнешься... Тем дело и кончилось: ни денег, ни расширения жилплощади. За перегородкой мама лежит себе и лежит, помирать пока не собирается. Врач говорит – сердце как пламенный мотор. Зато память потеряла и, кроме родной дочери, не узнает никого. Увидев зятя, каждый раз удивляется и строго спрашивает у Ольги:

– Доченька, кто это? Что он здесь делает?

И дальше – пошло-поехало... Как под копирку, одно и то же.

– Это мой муж, мама.

– Муж? Ты что, замуж вышла? Почему мне не сказала? И как его зовут, интересно?

– Юлиан, мама.

– Как?

– Юлиан.

– Что за странное имя – Юлиан... Мне не нравится, Оля. Прогони его, пожалуйста. Пусть уйдет. Я боюсь. Спрячь подальше шкатулку с драгоценностями, Оля! Человеку с таким подозрительным именем нельзя верить!

Он страшно бесился, выслушивая из-за перегородки повторяющийся ежевечерний диалог. Одно только упоминание о драгоценностях чего стоило. Три колечка да две цепочки в пластиковой шкатулке – драгоценности... Человек себя не чувствует, а за пластиковую шкатулку цепляется памятью. Но самым удивительным было то, каким образом у Ольги на всю эту безобразную геронтологию хватало терпения. Однажды он спросил ее прямо в лоб. Она глянула удивленно, пожала плечом, ответила вопросом на вопрос:

– А что, у меня есть варианты? Когда есть выбор, терпеть или не терпеть, можно сколько угодно рассуждать о терпении как таковом. А если вариантов нет... Просто идешь и дела-

ешь, что должен делать. Так-то вот, милый мой. А правда, кстати, почему тебя так по-дурацки называли – Юлиан?

– Не знаю. Назвали и назвали.

– Мама так захотела, да? В честь кого-то? Вроде нет писателей-классиков с таким именем.

– Ты издеваешься надо мной, да?

– Да ладно, не злись... Мне и без того нелегко.

– А ты не спрашивай про маму. И про классиков тоже. Я же понимаю, в каком контексте ты спрашиваешь.

– Ладно, не буду. И я не буду, и ты не злись. Просто не обращай внимания, и все. Мама же не виновата, что память потеряла, что не узнает тебя.

Он хмыкнул, ничего не ответил. Разговор на этом был исчерпан. Тогда они могли выйти из разговора, не поругавшись и не дойдя до точки кипения. Но, как говорится, сколько веревочке ни виться, сколько чайник ни пыхтит на плите, закипая...

Время шло, забирало в себя Ольгино терпение. И вместе с ним смиренную философию под лозунгом «идешь и делаешь, что должен делать». Да и он уже по привычке к тещиним испуганно визгливым вскрикам в его сторону: «Кто это, Оля?! Что он здесь делает?» Они постепенно будто менялись ролями – Ольга нападала, он уходил от нападения. Ольга догоняла и добивала хамством, он терпеливо сносил. А куда денешься? Дется-то ему некуда...

Вот и сейчас, выйдя из-за перегородки с судном в руках, Ольга спросила отрывисто:

– Чего твой отец звонил? Что-то случилось?

Встала посреди комнаты, блестя прищуренными глазами, ждала ответа. Заранее готовилась дать отпор.

– Да, Оль, случилось. Отец говорит, что мама больше не сможет самостоятельно передвигаться, даже по квартире... – произнес он, будто извиняясь за маму.

– О господи! Этого еще не хватало! Надеюсь, меня эта проблема не коснется? Мне вон своей проблемы по горло хватает, – повела она головой в сторону перегородки.

– Нет, не коснется, что ты.

Хотел еще что-то добавить, но вдруг разозлила нотка подобострастия в собственном голосе. Сначала вспыхнула малым огоньком, потом распалилась в глухое внутреннее раздражение – он что, виноват в чем-то?

– Оль, ты хоть судно из комнаты унеси. Так и будем говорить в ореоле миазмов? По-другому никак нельзя, что ли? Фу...

Она распахнула глаза, чуть прогнулась назад, взглянула на него с неприязнью. Молча, будто и слов не могла подобрать. Да он уже и сам испугался своей нечаянной эскапады, но в тыл не уйдешь, надо принимать бой. Вернее, встать в позицию защиты, по возможности уходя от ударов. И поделом! Сам нарвался! Женщина на грани нервного срыва! Да еще с судном, наполненным этими самыми... Миазмами, будь они неладны!

– А тебе не нравится, да? Ах, какие мы нежные, нам не нравится! – тихо и злобно прошелестела Ольга, будто ей в одночасье перехватило дыхание. – А ты хоть раз... Хоть в чем-то... Хоть в самой малости мне помог? Я бы отказалась, конечно, тебя бы, дурака, пожалела, но... Хотя бы ради приличия? Из уважения ко мне? Да черт с ним, с уважением! Хотя бы из жалости и сочувствия, из чувства сопричастности? Помог?

– Да чем я тебе помогу, Оль?..

– Да хотя бы то же судно вынести – переломился бы? Хоть раз?

– Я?

– Да, ты! Ишь как удивился, надо же! Не царское это дело, да? Нет, кто ты такой вообще?

– А ты не знаешь, кто я такой? Тебе напомнить?

– Давай, напомни! Очень интересно узнать!

– Я твой муж, Оля. Я с тобой в одном доме живу. И я не виноват...

– Ах, му-у-ж? Надо же, какое счастье! Оказывается, у меня муж имеется! А вот скажи мне, дорогой муж, какая мне от тебя польза в доме? Какая мне польза от тебя, моего мужа, в той трудной ситуации, в которую я попала? Что ты принес хорошего в мою жизнь? Свою вечно недовольную рожу? Свою брезгливость? У меня, что ли, брезгливости нет, как ты думаешь?

– Извини, Оль. Я не хотел тебя ничем обидеть. Правда.

– Еще бы ты хотел. Ты и без того живешь на моей территории как трутень. Тебя никто и не заставляет здесь жить, иди к своей мамочке. А что, там квартира большая! Это мы тут в однокомнатной втроем, повернуться негде.

– Оля! С кем ты разговариваешь? Кто-то в гости пришел? – вклинился в отчаянные Ольгины причитания тревожный тещин голос. – У нас есть что-нибудь к чаю, Оля? Подойди ко мне! Если гости пришли, надо сходить в магазин и купить чего-нибудь к чаю. Слышишь? Ну же, подойди!

– Сейчас, мама... – раздраженно махнула Ольга рукой в сторону перегородки, выходя из комнаты.

Было слышно, как она тихо причитает в ванной сквозь звук льющейся из крана воды:

– Как же я устала, как я устала... Когда все это кончится, господи... Да хоть бы комнаты раздельные были. Ни повернуться, ни разойтись! Ну сколько можно, никакой справедливости.

Юлиан обреченно вздохнул – все, сколупнула-таки себе болячку. Если заговорила о справедливости в квартирном вопросе – не остановишь. А раньше вроде договаривались – вопрос навсегда закрыт. Потому что поднимать его на повестку дня без толку. Но, видно, совсем прижала Ольгу за жабры повестка дня...

Так и есть – топает пятками по коридорчику, сейчас начнется. В окно, что ли, сигануть? С пятого этажа.

– Юлиан, я хочу спросить. Объясни мне, пожалуйста, чтобы я поняла, наконец. Не отворачивайся, смотри мне в глаза! Как так получилось, а?

– Что получилось, Оль? – переспросил трусливо, делая вид, будто и в самом деле не понимает, о чем она спрашивает.

– А то! Как так получилось, что мы ютимся в однокомнатной квартире, а твои родители живут в полнометражной трехкомнатной? Как так получилось, что у тебя своей доли в родительской квартире нет? Разве ты им не родной сын?

– Я же объяснял тебе, Оль... Когда квартиру приватизировали, мы с Жанной отказались от своих долей в пользу мамы... И папа тоже отказался... Получилось, что мама – единоличная собственница.

– А почему? Потому что она так захотела? И вы послушались?

– Не надо, Оль... Зачем говорить об этом? Все равно ведь ничего не изменишь.

– Да, ничего не изменишь по документам. А совесть у твоей мамы есть? Она ведь прекрасно знает, в каких условиях мы тут существуем! Ей сына своего не жалко, нет?

– Оль... Мама больна. Ей сейчас не до квадратных метров, сама понимаешь.

– Ну да, конечно... Ей плевать на твои квадратные метры, так будет правильнее. Главное – у нее есть квадратные метры, а родной сын обойдется. Родной сын пусть в чужих миазмах живет и счастлив будет. И как ты? Очень счастлив, мамин сын?

– Оль, не надо. Прошу тебя. Очень прошу.

– Оля! Так что там с чаем? У нас есть что-нибудь к чаю? – заверещала капризно теща, накрывая высокой нотой его убитое «очень прошу».

Ольга махнула рукой, ушла на кухню, бросив за перегородку привычно: «Сейчас, мам».

Юлиан подошел к окну, напряг шею, повертел головой, прогнул спину назад, ухватившись за рыхлую поясницу. Спроси его, зачем он это делает, – не ответил бы. Наверное, организму движение после стресса понадобилось.



Шея болела. Спина тоже. За окном шел дождь. Было субботнее октябрьское утро. В такое утро понимаешь особенно отчетливо – жизнь не удалась. Ты занимаешься не тем, живешь не там, женат не на той. И если первые два обстоятельства можно списать на фатум, то в третьем сам виноват. А может, не виноват. Может, и надо было так, чтобы до конца испытать вино жизненной неудачи. Кислое, аж скулы сводит.

Правда, почему он женился на Ольге? Почему потащился в загс, как телок на веревочке, и что в Ольге было такого уж завлекательного? Ведь ничего, ровным счетом. Даже городская жизнь ее ничему не научила, как была поселковой простушкой, так ею и осталась. Одни деньги да квадратные метры на уме. Только и прелестей, что эта квартира, которая досталась ей от первого мужа. Он от нее сбежал, как сбегают поверженные с поля боя, побросав все знамена, то есть не стал законное жилье отвоевывать. Тогда и тещино духа здесь близко не было, жила себе мамаша в богом забытом поселке, копала свой огород, солила огурцы и капусту квасила. Ольга была симпатичной разведенкой, веселой и нахальной, и комфортной во всех отношениях, но не до такой же степени, чтобы влюбиться-жениться! Почему, почему он женился на ней? Как мама тогда сказала – это ж, мол, как постараться надо, чтобы организовать себе такой вопиющий мезальянс! Из кожи вон вывернуться, глаза закрыть и потерять инстинкт самосохранения! Как?!

Во-первых, она была совершенно не в его вкусе. Во-вторых, старше на четыре года. В-третьих – плохо воспитана, неначитанна и неинтеллигентна. В-четвертых, у него была Лидочка, нежное наивное существо, по уши в него влюбленное. К тому же Лидочка была профессорской дочкой, воспитанной в лучших традициях безалаберной и любящей семьи, на булке с маслом к завтраку, обязательном филфаке и дачном ленивом гамаке, в котором так приятно мечтается о своем «герое», необыкновенном, из рода-племени любимых литературных персонажей. Неважно, чьим пером прописанном – Тургенева, Пушкина или Толстого, или из новых писателей кого приглядеть, тех же Аксенова с Рыбаковым.

Лидочка была скромной, полновато-неуклюжей и нерешительной, он рядом с ней чувствовал себя очень значительным. Смело рассуждал обо всем, критиковал тех же Аксенова с Рыбаковым, туманно намекал и на свои литературные поползновения, щедро добавляя в эти намеки побольше скепсиса – да если б я, мол, только захотел... Да я бы...

Лидочка кивала, смотрела ему в рот. Лидочка верила, что он гений. И не то чтобы гений непризнанный, а просто «не хотящий». Она верила каждому его слову и ждала предложения руки и сердца. От себя же готова была предложить положенные ей квадратные метры в большой квартире любящей семьи. Подсознательно, разумеется. Но со временем подсознательное перешло бы в сознательное, и кто его знает, как бы сложилась его судьба. По крайней мере, уж точно бы обошлось без миазмов. Да...

Ольга ворвалась в его жизнь нагло и безоговорочно, согласно набившему оскомину выражению – пришел, увидел, победил. Она тогда устроилась администратором к ним в офис, вела себя очень многообещающе, задорно и панибратски. Кокетничала тоже многообещающе. Ему было забавно, и он с удовольствием отвечал ей. Ради смеха. И сам не заметил, как Ольга взяла в общении ту самую опасную для него тональность – незаметного, но безусловного приказа. Как мама. Да, мамина тональность его всегда обезоруживала, опустошала и оглуляла, будто не срабатывал внутри некий тумблер сопротивления. От маминой тональности он впадал в ступор, сам себя не чувствовал, не ощущал внутри ни грамма самообладания и рассудительности. Ни грамма уверенности в себе и достоинства. Бери голыми руками, делай что хочешь, приказывай.

Лидочка так не умела, где ей. Лидочку он опустошал и оглулял, и ей ничего не оставалось, как безропотно сидеть и ждать предложения руки и сердца. Во дурак был, если вспомнить. Чего время тянул? Наверное, насладиться хотелось ее безропотным ожиданием.

А Ольга ждать не стала. Однажды в конце дня подсела к нему, попросила прийти к ней в следующий выходной, чтобы помочь передвинуть мебель. Да, просьба прозвучала как приказ, именно в той тональности. А он не понял, дурак, опасности не почувствовал. Глянул в Ольгино низкое декольте, сглотнул вязкую слюну, согласно кивнул – пиши адрес...

Мебель они передвинули. Он так и остался в ее квартире, как приложение к мебели. Неделя прошла, вторая, третья. Нет, не сказать чтобы жалел... Наоборот, ощущения были яркими и забавными, и мысли в голове вертелись такие же разухабистые – еще, мол, позабавлюсь немного и назад, к Лидочке.

А потом затянуло. Потом он вдруг осознал – как хорошо жить без мамы. Не понял тогда, что смена тональности – это еще не свобода. Тогда его все устраивало и забавляло. Даже то, что Ольга настояла на формальностях и потащила свою добычу в загс. Тогда он добычей себя не чувствовал, никаких аналогий не проводил. Позже, через несколько лет, вдруг пришла в голову аналогия с отцом... Отец – мамина добыча, и у сына та же судьба – быть чьей-то добычей. Не зря к отцу нежных чувств никогда не испытывал.

Мама от его скороспелой женитьбы была в ужасе. В данном случае ужас выражался молчаливым презрением – отряхиваю, мол, руки, делай что хочешь. Все равно из тебя ничего не получилось, как я ни старалась. Твоя воля, падай до самого дна.

Может, она и права была относительно этого пресловутого дна. Потому что как еще нынешнюю ситуацию назовешь? Когда теща вопит из-за перегородки каждую минуту, когда только и делаешь, что оправдываешься, оправдываешься... А в чем он виноват? Да ни в чем!

Вообще, не везет ему. Ладно, еще бы работа была приличная, можно и семейное дно пережить. Но где ее нынче найдешь, приличную? Пришлось брать то, что под руку подвернулось. Сломала его эта работа, втоптала в грязь. Менеджер по продаже рекламы в коммерческой газетенке – разве это должность? Это ж пойдти туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что! В его-то возрасте – быть на побегушках!

А все мама с ее амбициями... С чего она решила, что у сына есть литературный талант? С какого перепугу настояла на том, чтобы он поступил в Литературный институт? Репетиторов нанимала, к замшелому старичку-писателю на консультации водила. Откуда она его выкопала, того старичка? Кто его знал? Две публикации в журналах, одна брошюрка с повестушкой и членство в Союзе писателей – этого достаточно, так посчитала мама. Главное, он рекомендацию даст. И приятель у него в экзаменационной комиссии.

Ну поступил. А дальше что? Между прочим, с их потока никто большим писателем не стал, все в разных случайных местах подвизаются, с писательством не связанных. Деньги зарабатывают. А писательским трудом не шишко на хлеб масла намажешь, да не больно-то и хотелось. Не масла, конечно, а того самого писательского труда, будь он неладен. Масла-то на хлеб, наоборот, очень хочется.

В общем, больная тема. Можно сказать, эта тема ему жизнь сломала – мамиными амбициями. Писательских лавров ей хотелось, интервью. Ах, мы беседуем с уважаемой Еленой Максимовной Тюриной, урожденной Сосницкой, матерью известного писателя Юлиана Тюрина! Ах, Елена Максимовна, расскажите, как вы воспитывали своего сына? Какой он талантливый, просто душа! Мы так любим книги писателя Юлиана Тюрина!

Нет, пожалуй, не так. Не писателя Тюрина, а писателя Сосницкого. Мама хотела, чтобы он был Сосницким. Юлиан Сосницкий – круто звучит. И в то же время смешно. Чем круче псевдоним, тем бездарнее автор?

Да и мама никакая не «урожденная», у него с детства была догадка, что папу Сосницкого она себе придумала. Потому что у бабушки была фамилия Коровина. Значит, и дедушка был Коровин? Хотя мама уверяла, что бабушка после развода поменяла фамилию на девичью, а в браке была Сосницкая... И мама в девичестве была Сосницкая. Но мама ведь и придумать

может, она в этом смысле большая затейница. Потому что звучит совсем некрасиво – Тюрина-Коровина... Куда как лучше – Тюрина-Сосницкая!

Нет, в самом деле, далась ей эта прибавка к Тюриной. Зачем?

Сколько детских обид, больших и маленьких, они пережили с Жанной. Сколько боли. Целое море обид и боли. Нет, все-таки интересно, это море иссякнет когда-нибудь? Испарится, высохнет? И что останется на его месте? Пустыня?

Нет, не надо об этом думать. Именно сейчас – не надо. Можно так себя раздраконить, что мало не покажется. И вообще, надо в другую сторону думать, надо проблему решать. Интересно, что Жанка отцу ответила? Наверное, тут же к маме помчалась. На всех парусах.

Он вздрогнул, почувствовав, как мягкие Ольгины ладони легли на его плечи. Не услышал, когда она подкралась. До такой степени в себя ушел.

– Завтракать будешь? Идем, я блинчиков хочу напечь. С какой начинкой хочешь, с творогом или с мясом?

Голос у Ольги был вполне себе миролюбивый, ласковый даже. Все правильно, так всегда и бывает. Выпустила пар и сразу покладистой стала. Или нет, не так! Выплюнула свое раздражение, теперь ей за плевков стыдно, пришла утереть. Так же и мама всегда поступала с отцом.

– Ну? Чего ты молчишь? С творогом или с мясом? Пойдем на кухню, у меня там сковородка на плите.

Юлиан молча развернулся, пошел за ней.

На кухне висел легкий сладкий дымок, пахло блинами. Как всегда, Юлиан едва протиснулся на свое место, кухонный диванчик-уголок привычно принял в свои объятия.

– Так я не поняла... чего там с мамой-то? – обернулась от плиты Ольга, ловко перевернув очередной блин на сковородке.

– У мамы ноги отказали. Врач сказала, больше не встанет. Надо решать вопрос, – механически произнес он, поглаживая рукой пластиковую столешницу.

– Так а что решать-то, не понимаю?.. С ней же отец. Он всегда готов услужить и все сделать.

– Отец пьет. Ты же знаешь. На него надеяться особо нельзя.

– Ну, пьет. И что такого, подумаешь! Чтобы за памперсами в магазин сбегать или судно вынести, необязательно трезвость блюсти. Даже наоборот.

– Мама терпеть не может, когда он пьяный. Раньше она его за это гоняла, а теперь процесс будет неконтролируемым и непредсказуемым. Понятно?

– Эка ты об отце-то. Как о совсем пропащем да чужом говоришь. С металлом в голосе. Он же отец тебе, не кто-нибудь.

– Он пьет, Оль!

– И что? Надо же, какой чистоплюй выискался! Да если бы мой отец-молодец когда-нибудь отыскался. Хоть бы весточку какую прислал. Да я бы его любого приняла да обласкала, хоть пьяного, хоть какого.

– Для чего бы ты его приняла да обласкала? Чтобы маму ему всучить?

– Во дурак... Чего такое говоришь-то? – снова обернулась от плиты Ольга, посмотрела на него внимательно. – Сколько с тобой живу, а толком тебя так и не знаю... Жестокий ты мужичок, однако.

– У тебя блин горит.

– Пусть горит. А я вот что тебе скажу, милый: ничего ты в жизни не ценишь как следует. Скажи спасибо, что у тебя отец есть. И что любит тебя, дурака. А вы... Совсем вы его затуркали... Жалко, хороший дядька.

Она махнула рукой, снова повернулась к плите. Тихо чертыхнулась, убирая со сковороды подгоревший блин. Хотела еще что-то сказать, но из комнаты прилетел тещин визгливый с хрипотцой голосок:

– Оля! Оля, ты где? Я еще чаю хочу! Дай мне чаю, Оля! И печенья еще принеси! Ты мне совсем ничего не даешь поесть, Оля!

Ольга ушла, наказав Юлиану не забыть перевернуть блин. Он вяло кивнул, потом откинул голову на спинку диванчика, закрыл глаза.

Как надоело все. Жизнь не удалась. Ты занимаешься не тем, живешь не там, женат не на той. И мама еще... Надело, надоело...

На сковородке подгорал неперевернутый блин. Вставать с диванчика не хотелось. Надоело все, надоело...

Интересно, Жанна поехала к маме или нет?

\* \* \*

Папин звонок застал Жанну врасплох. Если можно было выбрать менее удачное время, чтобы сообщить неприятные новости, то папа его выбрал. Не специально, конечно, он же не знал... И тем не менее.

И что теперь делать – в этой дурацкой ситуации? Встать со стула, одеться и молча уйти? Но Макс подумает, что она совсем ушла. Что сделала свой выбор. Он именно так все и поймет, и ее объяснение, что надо было срочно уехать к маме, примет за вежливую легенду. Дурацкая, глупая ситуация. Глупее не придумаешь. Потому что выбрать практически невозможно – остаться или уйти. Потому что на самом деле выбора нет, когда остаться нельзя, а уйти некуда. И сил тоже нет. Кончились.

Еще бы не кончились – после бессонной ночи. После того, как узнала правду – Макс летал в Прагу не один. Добрые люди всегда откроют на правду глаза, даже когда их об этом не просят.

Вот зачем Ленке Кукушкиной надо было ей звонить? «Ах, Жанка, у меня такие новости! Такие новости!» Даже голос дрожал от предвкушения, что сейчас в чужую душу нагадит. И нагадила-таки. Ну, летела в одном самолете с Максом, видела его с рыженькой-смазливенькой и молчала бы себе в тряпочку. Но разве Ленка смолчит? Ни за что не смолчит. Наоборот, в мельчайших подробностях все опишет – как обнимал, как на ушко шептал, как за коленку трогал. Наверное, из принципа – не доставайся же ты никому, личная жизнь! Если у Ленки ее нет, значит, и у других не должно быть! Лучше бы кто другой Макса в самолете увидел, но не эта вездесущая и завистливая Кукушкина.

А самое обидное, что и не нужны никакие подробные живописания рыженькой-смазливенькой, и без того понятно, кто она есть. Это секретарша Наташа из офиса, где Макс работает. Милая девушка, общительная, улыбчивая. И с ней так мило всегда по телефону разговаривала, когда надо было срочно Макса найти. И на корпоративах тоже проявляла к ней веселое хмельное дружелюбие. И вообще, мысли плохой не было в ее сторону.

Сначала она Кукушкиной не поверила – мало ли кто с Максом рядом в самолете оказался. Может, знакомую встретил, в школе вместе учились? Может, у них школьный роман был – отчего ж за коленку невзначай не потрогать да на ушко чего не шепнуть? А потом сопоставила все... Разложила по полочкам... Время-то было, чтобы сопоставлять да по полочкам раскладывать, – целая ночь, перемежаемая кофе, красным вином и сигаретой. Тяжелая ночь...

А она еще думала – отчего это Макс не позволил его в аэропорту встретить? Не надо, мол, спи спокойно, я сам доберусь. Рейс такой неудобный, утренний. А оказывается, он вечером прилетел. Тем же самолетом, что и Кукушкина. С рыжей-смазливой Наташей. И заявился домой только утром. Вот интересно, им в Праге совместных ночей не хватило, что ли? Решили дома еще одну прихватить?

Утром она открыла ему дверь, повернулась, молча ушла на кухню, никак не отреагировав на его обиженное:

– Жан, ты чего? Случилось что-нибудь, да? Я ж тебе звонил с вечера – вроде ничего не случилось.

Да, он звонил с вечера. Аккурат успел перед звонком Кукушкиной. А потом телефон отключил. Но говорить ему про все это не хотелось – не было сил. Совсем измоталась за ночь, решая дилемму – быть или не быть.

Казалось бы, ответ сам напрашивается – не быть! Ни за что не быть! Измену прощать нельзя! Вы, сударь, подлец и коварный изменщик, вы моей любви недостойны!

А с другой стороны... С другой стороны, уже стучит колесами последний вагон, в который, если сейчас не впрыгнешь, то вообще никуда не уедешь. Останешься одна на станции, как в той песне... «Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные». Да, именно так и есть. На всю оставшуюся жизнь – одиночество и глаза печальные. Чего уж себя лишним оптимизмом обманывать, надо правде в глаза смотреть.

Ах, дорогая горькая правда. Правда и только правда. Ничего, кроме правды... Кто она есть, если со стороны правды? Отставная балерина тридцати шести лет. Внешность не голливудская. Счета в швейцарском банке не имеет. Нормальной человеческой специальности – никакой, даже бухгалтерских курсов за плечами нет. Смогла пристроиться в детский дом творчества, кружок хореографии вести – и на том спасибо. Зарплата бюджетная – слезы, само собой...

Да, было дело, в детстве подавала надежды. Хотя и не надежды это были, а так, поползновения. Может, потому что мамин одобрительный кивок надо было выслужить. Старалась до изнеможения, до обморока, истязала себя у станка, однажды в больницу с нервным истощением загремела. Но вышла из больницы – и все сначала.

А иначе никак нельзя было. Иначе мама будет ею разочарована и сделает такое лицо... Такое... После которого жить нельзя. После него ты и не девочка по имени Жанна, а так, непонятное существо. А непонятному существу не полагается одобрения. О, как страшно жить без маминого одобрения, о, детский ужас, который ломает психику, тащит самооценку в минус. Это она сейчас, будучи взрослой, это хорошо понимает. А когда была маленькой, не понимала. Маленькая Жанна боялась быть сломанной куклой, которую не жалко выбросить в мусорный контейнер.

Но тем не менее это случилось со временем. Потому что подавать надежды могут все, а танцевать первые партии – далеко не все. Но маме же не объяснишь, как трудно вырваться из кордебалета на первые партии! Практически невозможно! Мама одно твердит – стараешься плохо, ленишься, не о том думаешь. Целью не одержима, не бросаешь себя на алтарь.

Господи боже, слова-то у мамы какие были – алтарь. Целью не одержима. Это она – не одержима? Когда ни одной минутки не имела права потратить на что-то другое, кроме жестокой цели? Когда девчачьи радости были неведомы, недоступны?

Хотя... Может, мама и права была в чем-то. Или одержимость у нее неправильная была. У мамы была правильная, а у нее – всего лишь тень маминой одержимости. Да и минутки, потраченные на другое, тоже были, тайные и своевольные. Ох, если бы мама узнала о тех минутах! Ох, что бы тогда было, представить страшно!

Они были совсем безвредные, эти минутки. По утрам настигали, когда проснешься, а будильник еще не прозвенел. Или вечером, перед сном. Когда вдруг возникнет в голове картинка, не имеющая к балету никакого отношения, и хочется за нее ухватиться, как утопающий хватается за соломинку, и жить, и дышать, и ощущать себя другим человеком. Не одержимым и не бросающим себя на алтарь, а просто счастливым. И все время на этих картинках одно и то же, такое, о чем не расскажешь, особенно маме. Потому что там счастье – обыкновенное. Там дом, семья, дети. То есть ее собственная семья, ее собственные дети. Вот она старательно наводит уют в доме, вот готовит обед. Вот все они сидят за столом и лампа уютно светит.



Потом, позже, эти картинки стали еще навязчивее, требовали к себе внимания. Не тем занимаешься, не туда идешь! – кричали. Мимо своего счастья идешь, лишь бы маме угодить по привычке!

Впрочем, и мама потеряла интерес к алтарю, цели и одержимости. Поняла, что не получится из дочери примы. Охладела. Махнула рукой. Как говорил брат Юлик – поставила еще одну неудавшуюся восковую куклу в пыльный угол.

А мечты о доме, семейном счастье продолжали жить в ней своей отдельной жизнью. Наверное, природа ее была именно такой – быть хорошей домохозяйкой в крепком браке. Чтобы дом, дети, уют, пироги по воскресеньям и пирожные к чаю. Толстые такие пирожные, с нахальными шапками взбитых сливок. И лишние, позволенные самой себе килограммы. И никакого балета. Даже по телевизору. Забыть про него раз и навсегда и домочадцам запретить произносить при ней это слово.

Но что делать – мечты оставались мечтами. Наверное, по-другому и быть не могло? Если человеческую природу с детства обманываешь, она и обидеться может, и очень сильно обидеться, так, что у разбитого корыта останешься. А когда опомнишься, глянешь по сторонам... И понимаешь, что хороших женихов давно разобрали – те самые и разобрали, кому плевать на всякие одержимости и кто правильную природу в себе не задавил. И кому с родителями повезло, конечно. Это у них крепкие браки, домохозяйство, дети и пироги по воскресеньям. Да, и пирожные с нахальными шапками, куда ж без них. А у тебя – общество мамы и папы по вечерам. Папа всегда тихий и слегка пьяный, а мама вообще тебя словно не замечает. Но это кажется, что она тебя не замечает, а на самом деле испытывает к тебе глубокое чувство брезгливой досады, которое по интенсивности зависит от степени раздражения к отцу. В такой ситуации начинаешь вполне конкретно мечтать о замужестве – о любом. Лишь бы из дома уйти. Но попробуй, когда тебе за тридцать перевалило!

Но пробовать было надо, потому что дальше, как говорится, уже некуда. На Тихорецкую состав отправился – не догонишь. Платочки уже белее белого, глаза печальней самой темной печали. Та же Ленка Кукушкина подсуежилась, познакомила ее с троюродным братом. Не первого сорта был жених, конечно, но что можно было ждать от Кукушкиной?..

Звали его Петей. Носил он пиджак в мелкую серую клеточку, брюки с остро отглаженными стрелками и старомодные тупоносые ботинки на толстой подошве. Все время улыбался и оглаживал руками волосы, трусливо проверяя, закрывают ли они просвечивающие залысины. Жил Петя с мамой в однокомнатной квартире на окраине города, но мама ради счастья сына хотела уехать к одинокой сестре в деревню. Да, попадают у холостяков и такие мамы, но редко. Можно считать, повезло с мамой. Кукушкина сказала – давай, Жанка, действуй. Сначала ввяжись во все это дело, потом разберешься, что к чему. На тумбу его загонишь, воспитаешь, вылепишь нормального мужика, лысину красиво оформишь, чтобы не комплексовал, ботинки новые купишь. Пиджак в мусорку выбросишь. Нет, а что? Было бы из кого лепить, Жанка.

Мама, когда привела Петю знакомиться, долго смотрела на него с оскорбленным недоумением на лице. Бедный Петя сидел в кресле, взмокший от макушки до пяток, не знал, в какой угол отправить ответный испуганный взгляд. Пауза так долго тянулась, что стала в конце концов невыносимой. Наконец мама перевела взгляд на Жанну, спросила насмешливо, почти глумливо:

– Ты что?.. Ты пойдешь замуж за это? Неужели так приспичило, не пойму? Или как в пьесе у Островского – хоть за Карандышева, но замуж? И как потом с этим... жить собираешься?

Петя тогда обиделся и ушел, даже чаем не угостившись. А она тихо рыдала, лежа на диване лицом к стене. И уважала Петю, который ушел. Молодец, Петя. И вовсе не Карандышев, а с нормальным достоинством человек. И найдет он себе жену, в сто раз лучше.

А ей – поделом. Надо было вместе с Петей уйти, а не рыдать на диване. Не жалеть себя, не ворошить внутри обиды на маму, маленькие и большие, детские и взрослые. Много, много обид, спрессованных в одну несчастливую женскую судьбу.

Вот почему так? Почему наша память так избирательна, что впитывает в себя только обиды? Разве не было в жизни ничего, кроме обид? Ведь было, наверняка было, если по большому счету.

Например, была у них семья – не самая плохая, если на первый взгляд. Обыкновенная семья, со своими традициями. Ну да, мама верховодила, как хотела, отец безропотно ей подчинялся. Но разве мало таких семей? Да сплошь и рядом! И все как у всех. Обязательный горячий завтрак, молоко в молочнике, кофе в кофейнике, масло в масленке. Обед в холодильнике в кастрюльках, записка на столе, где маминым почерком расписана четкая пошаговая инструкция – что на первое, что на второе, в чем разогреть да не забыть газ под конфоркой выключить. Воскресные обеды – обязательно в столовой, тарелки из парадного сервиза. Новый год с елкой, с подарками... Все как у всех. А мамыны юбилеи – это было что-то с чем-то! Как готовились, как репетировали, как выступали перед гостями! Юлик читал какой-нибудь рассказик собственного сочинения, она танцевала умирающего лебедя в пуантах, в пачке... Гости заходились восторгами, говорили про маму, что она исключительная жена и хозяйка, прекрасная мать, все, что возможно и невозможно, делает для своих детей, всю себя посвящает им без остатка. Мама и сама часто им с Юликом повторяла – я вам жизнь отдала, сама себе не принадлежу. И была, была сермяжная правда в этих словах – если посмотреть посторонним глазом, конечно.

Хотя нет. Не сермяжная. Обманчивая была эта правда, и даже на посторонний взгляд. Мама вполне и вполне самой себе принадлежала, полностью и без остатка. А вот они сами себе не принадлежали. Они ей принадлежали. Как материал для работы творца, как воск.

Вот и решай теперь, восковая кукла, несостоявшаяся балерина, что тебе делать. Сидеть на кухне у Макса или к маме бежать, долг отдавать? Наверное, долг – это святое. Это понятие безусловное, хочешь не хочешь, но отдай, не греши. Но если с другой стороны посмотреть, немного кошунственной. А есть у подручного материала долг перед творцом? Тем более если этот материал – выбраковка? Может, наоборот, мама ей должна, за выбраковку-то? Или существует какой-то компромиссный вариант?

В бокале оставалось немного вина – Жанна притянула по столешнице к себе, глотнула жадно. Потом оглянулась на дверь, прислушалась. Тишина в квартире, Макс где-то затих. Не пришел вслед за ней на кухню, чтобы выяснить отношения. И что теперь делать? Сказать себе, как героиня Островского: вот судьба моя и решилась? Доставай чемодан, собирай вещи, отправляйся служить больной маме? Но ведь сил нет... Еще вчера счастье было так близко, так обещано и возможно... Счастье по имени Макс.

Когда Макс появился в ее жизни, она дышать боялась, чтобы не спугнуть. Такой настоящий, осязаемый, такой молодой и привлекательный, без клетчатого пиджака и комплексов, такой крепкий, самоуверенный, весь такой мужик-мужик. Всего на два года младше ее, но ведь это не страшно, два года? Тем более рядом с ним она выглядела дюймовочкой, робкой тростиночкой, хрупкой мимозой. Кукушкина, когда увидела его первый раз, вынесла свой убийственный вердикт – бабник. Любитель молодого мяса на свободном выгуле. А дома ему служанка нужна. Жанка-служанка, само собой в рифму напрашивалось. Ну что можно было ей ответить? А ничего. Усмехнуться только да подумать про себя: завидовать нужно молча, Кукушкина. Может, и бабник, и что? Всякий успешный клерк имеет право на маленький служебный роман, который ничем не кончается, потому что дома его ждет преданная подруга.

Да, преданная подруга с него пылинки сдувает. Да, вкусно кормит и гладит ему рубашки. Да, отвечает на его звонки с нежным придыханием – слушаю, милый. Да, я тебя дома жду с ужином. Завидовать надо молча, Кукушкина!

Зато она чувствовала себя абсолютно счастливой. И, уж прости, Кукушкина, – красивой и молодой, той самой задорной девчонкой, играющей в сексуальной группе. Подходила к зеркалу и удивлялась: откуда что взялось? Будто сухую палку воткнули в плодородную землю и она пустила корешки-ветки, зазеленела, зацвела буйно. Так буйно, что и на плоды появилась надежда. Ну, хотя бы на один плод... Вот это было бы окончательное счастье, безоговорочное.

Правда, Макс никаких «плодов» не хотел. Говорил, ипотека за квартиру на шее висит, еще десять лет надо платить. Да и вообще... с детьми такая морока. Тем более ребенок у него был – от первого брака. Сын Кирюша, хороший мальчик. Поэтому – извини, мол, дорогая Жанна, но меня на данный момент все устраивает. Работа, дом, хрупкая мимоза под боком в качестве гражданской жены. Пока – гражданской... Потом видно будет...

Она вздыхала, но соглашалась. Перспективы туманные, но это лучше, когда вообще никаких перспектив. Да, потом видно будет. И «данный момент» имеет свойство переходить в следующий момент, когда происходит мужская переоценка ценностей. Время есть, чтобы переждать неприятный «данный момент». Все само собой разрешится со временем. А детей сейчас и после сорока рожают, и даже позже.

И надо было послать к черту Кукушкину с ее открытиями! Надо было! А теперь что? Сиди на кухне и прислушивайся к тишине в квартире?

Ой, дверь в спальню открылась... Идет! Идет все-таки!

Жанна выпрямила спину, сжала в пальцах тонкую ножку бокала. Макс вошел, спросил насмешливо, как ни в чем не бывало:

– Пьянствуешь? Ну-ну... А как насчет закусить? Я бы позавтракал за компанию.

Она подняла на него глаза, полные слез. Будто хотела сказать: мне не до шуток. Не до шуток мне, понимаешь ты или нет?

Макс вздохнул так, будто ему предстояло впереди трудное и неприятное дело, которое ужасно не хочется делать, но надо, черт побери. С шумом отодвинул стул, сел напротив, заговорил жестко, с нажимом:

– Послушай меня, Жанна. Вот мы сейчас поговорим на эту тему и больше никогда ее не коснемся, хорошо? Я этого терпеть не могу, когда в доме такой нервный надрыв. Не люблю никаких надрывов. Люблю спокойствие и уют, и чтобы вкусной едой пахло.

– Я тоже люблю спокойствие и уют, Макс. Но не я этот надрыв в доме устроила. Я сидела и ждала тебя, как верная собака. Это ты меня обманул, а не я тебя. И не говори, что это неправда, я все знаю. Ты летал в Прагу не один, а с Наташей. Я все знаю, так уж получилось.

Макс кивнул, побарабанил пальцами по столу. Хмыкнул, снова побарабанил. Жанна ждала, что он хотя бы оправдываться начнет. Или отрицать очевидное. Но такой реакции, которая последовала, совсем не ожидала. И голоса такого равнодушно спокойного тоже не ожидала:

– Ну, знаешь и знаешь... И ради бога. Только убери, пожалуйста, эти прокурорские нотки в голосе, они мне не нравятся.

– А какие должны быть нотки? Счастливые и радостные?

– Да хоть какие, но все равно, не надо судилище надо мной устраивать. Я ж не виноват, что ты об этом узнала. Если бы не узнала, жизнь продолжилась бы в том же ритме, правда? Поверь мне, все мужики так изредка делают. А умные женщины умеют делать допуски в отношениях. Эти допуски и называются женской мудростью, дорогая моя Жанна. Ты об этом никогда не задумывалась, нет?

– Ты что же, предлагаешь мне закрывать глаза на твои измены?

– Ну, зачем же так грубо?... Закрывать глаза... Измены... Жизнь – это не любовный роман, Жанна. Жизнь требует определенных допусков и скидок, это надо уметь... А не умеешь – учись, значит. Умей фильтровать информацию, которая к тебе поступает. Выкидывая лишние файлы и живи дальше. Большие знания порождают большие скорби, это не я сказал, как ты понимаешь. Хотя я не знаю, кто это сказал, но, судя по всему, очень умный человек был.

– Ты... Ты сам-то слышишь, что говоришь, Макс? Разговариваешь со мной, будто я сопливая девчонка! Учишь меня мудрости, надо же! Мы живем вместе, спим в одной постели, я ухаживаю за тобой, варю борщи, каждое утро наглаживаю для тебя свежую рубашку... И кто я для тебя, Макс, объясни, пожалуйста! Женщина, которая на все закрывает глаза? Боится лишнего знания, чтобы не умножать своей скорби? Но таких женщин не бывает, Макс, их просто в природе не существует! И не лучше ли для удобства домработницу нанять, а на ночь вызывать проститутку? Или они дороже тебе обойдутся?

– Фу, Жанна, как грубо... Куда тебя понесло.

– Нет, кто я для тебя, а? Я хочу знать.

– Ты моя женщина, Жанна. Любимая. Мы с тобой живем в удачном гражданском браке. Меня в тебе все устраивает. Но я терпеть не могу выяснения отношений.

– Я тоже не люблю выяснять отношения, но приходится, что же делать. И я не понимаю той женской мудрости, о которой ты говоришь. Я так не могу.

– Что ж, очень жаль... Если я тебя не устраиваю, что ж... Я такой, какой есть, обыкновенный мужик. Все мужики изменяют, Жанна. Это бывает. Абсолютно со всеми. Не надо делать трагедии на пустом месте!

– А что надо делать? Радоваться? Научи!

– Не знаю, что надо делать. Это тебе решать. Я попытался тебе объяснить. В общем... Хочешь – принимай меня такого, хочешь, не принимай, твое дело.

– Это что, ультиматум?

– Да какой ультиматум, Жанна?..

– То есть ты и дальше будешь мне изменять, я правильно понимаю? Ты будешь делать что хочешь. А я должна закрывать глаза на твои измены, быть мудрой и терпеливой. Так?

– Не преувеличивай, пожалуйста. Я ж говорю – сама решай. Больше я тебе ничего предложить не могу.

Ее давно уже трясло от его спокойного, уверенного тона, в котором присутствовала изрядная доля снисходительности. И впрямь будто с малолеткой разговаривает. Внушение делает, как надо себя вести. А если будешь плохо себя вести – рассержусь.

Вдруг она поняла, что еще минута такого разговора, и она не выдержит, сорвется в истерику. В слезы и сопли сорвется. Будет кричать на него, стучать кулаками по столешнице, выплескивать унижение. Как обыкновенная баба, которую подло обманули. Потом размахнется и со всей дури влепит пощечину – раз, другой, третий... Так, чтобы голова моталась, как флюгер на ветру!

Жаль, не умеет она «влепить пощечину». Духу не хватит. Эмоций внутри полно, а духу не хватит. Истерика тоже успела сдохнуть где-то на пути к горлу, и наружу выскочило то, что выскочило – жалкий и слезный шепоток, остаток внутренней бури:

– Уходи... Уходи, Макс... Не могу тебя видеть после всего...

– Куда, Жанна? Куда я должен уйти, по-твоему? – спокойно спросил Макс, и опять она услышала, как явственно прозвучала та самая нотка насмешливой снисходительности в его голосе. – Вообще-то это моя квартира, как ты понимаешь.

Возникшая после его ответа пауза окончательно ее добила. Ударил в солнечное сплетение. Обескуражила. Ну да, ведь все так просто. Уйти должна она. Действительно – просто! Не нравится, что тебе предлагают, – уходи. Говорить больше не о чем.

Макс протянул руки, закрыл теплыми большими ладонями ее ладони, холодные и чуть подрагивающие, проговорил уже мягче, будто стирая мягкостью давешнюю насмешливую грубоватую тональность:

– Жанна, я еще раз повторю, если ты не поняла. Меня в нашей жизни все устраивает. Я люблю тебя, мне хорошо с тобой. В общем, решай сама. Делай выбор. А я пойду, посплю немного, голова ужасно болит. Терпеть не могу подобного напряжения!

Он встал, быстро вышел из кухни, будто боялся, что она его остановит. Показалось, легче стало, когда он ушел. Напряжение будто спало. И есть захотелось. Или хотя бы чаю попить. Нет, лучше кофе... Дать себе передохнуть, пока поднимается пенка в турке, ни о чем не думать, сосредоточиться на том, чтобы кофе не убежал.

Первый глоток – спасительный, освежающий. Еще глоток. Еще кусок сыра себе отрезать, сжевать просто так, без хлеба, по старой «балетной» привычке. Кофе и сыр – что может быть лучше? Бальзам для уставшего от нервного напряжения организма.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.